



рю лежала горка тряпья. Иван поднял ее и, узнав в вещах свою одежду, стал утепляться. В шель тут же потянулся удушливый запах табака. В минуту он был готов. «Военный я, что ли? Вдруг стремянной?» – посмотрел на себя в зеркало еще раз. На Ване блестела кольчуга, натянутая поверх ватной рубахи – старой, бесцветной, в прорехах. Штанов не нашлось, были только подштанники – теплые, дутые, похожие на мешок. Ступни он ловко обмотал двумя тряпками и влез в сапоги, подтянув отвороты к коленям. Ваня нарядился столь скоро, не задумываясь, одной памятью рук, из чего и вывел, что он из служилых. Перед выходом он застегнул кожаную португую и поправил на плече. Похлопал колчан, прицепленный со спины. В нем оставалась стрела. Лука нигде не оказалось. Ваня вышел и хлопнул за собой дверь так громко, что утлый дом содрогнулся, а звери, завидевшие его, прервали свои дела и робко расселись.

Его появление оказалось неожиданным, и люд в зале попритих. Ну как люд? Медведи. И зал – не зал, так, сени. Немногим больше его спальни, и тусклых оконцев не одно, а три. «Э, – оглядел постояльцев Иван, – видать, давно они тут, а застряли еще надольше». Медведи, сидевшие по лавкам, разом прервали разговоры и уставились на вошедшего. Вида они были жалкого. Тощие, позабывшие вкус лосося и малины, с обсосанными лапами, смердящие вымокшим псом. «На собак похожи», – подумал Иван. Один из мишек встал на задние и поднес ему кобзу. – На вот. Наладь, раз проснулся.

Ваня ушипнул верхнюю струну, затем среднюю. Покрутил колки и вернул медведю настроенный инструмент. «Ого, – подметил Ваня, – я и это умею».

Посреди бурых шкур сидел один все ж таки человек. Широкоплечий мужчина в расстегнутом до пояса красном кафтане. Он упирался локтем в колено, а в свободной руке держал деревянную кружку, видимо, с бражкой. Он отставил вино и протянул Ивану руку, причем не привстав.

– Заборов.

«Экий наглец», – подумал Иван и руки тому не подал. Лучник не сразу понял, что такое отталкивающее было в Заборове. Нет, не развязанная его манера сидеть, и не трепет, с которым взирали на него медведи, и даже не бегающие глазки подлеца. Голова! Вместо человеческой головы на шее Заборова сидела заячья, только не малая, а здоровенная, как если б ее сняли с двухметрового кроля. Мохнатые уши топорщились. Между ними, поперек тулова, сидела черная двууголка. Золотая кисточка ее нависала над рожей и прятала за собой мерзкий розовый

нос, который то ходил из стороны в сторону, то непроизвольно вздрагивал и казался во все времена мокрым.

– Тут кто-нибудь знает, кто я? – спросил Ваня.

Заборов вернул протянутую руку на прежнее место и ухмыльнулся. Медведи в ответ только моргали. Не выдержав навалившейся тишины, Мишка заиграл и, не раздумывая, торопясь, невпопад запел:

*За Петровой горкой,  
За косым оврагом  
Занавесил шторжи,  
Залил сердце брагой.*

– Иван ты, – оборвал задушевную Заборов. – Заявился на днях, говорил, что стрелец, и что отзывается на «Ваню», и что лук свой потерял...

– Какой лук? – выпалил Ваня, не дослушав.

– Ну вряд ли порей, – ответил Заборов, шмыгнув носом и вытащил из-за пазухи бутылку спирта.

– Так! – Иван прошелся по комнате и сел на скамью. Медведи послушно отсели, освободив стрельцу единственную затертую подушку. – Так! – повторил он и обратился к Мише: – Перестань тренькать.

Игрец послушно повесил инструмент на гвоздик. «Значит, и они не знают, – думал лучник. – Но я же кто-то и прожил как-то до своих... Э... лет». Медведи сидели тихо, виновато свесив головы. «От этих зачумленных толку никакого нет», – с досадой оглядел их Иван. Вожаться с мужиком звери не хотели.

– Ну хоть что-то еще я о себе говорил? А? Заборов? Откуда пришел, куда следуешь?

– Пришел от блуда, а следуешь в могилу. – Заячья морда затряслась от хохота.

– Верно, Иван. Все там будем, – совершенно серьезно и с сочувствием сказал Миша, подсевший к стрельцу поближе.

– Ты, Ваня, мужик бедовый, – продолжил Заборов, вдоволь проржавшись, – я таких перевидал. В пьянстве буен, в похмелии грозен.

Сделалось Ване от таких слов обидно. По всему видно было, что заяц прав. Поник головой Иван. Принялся мотать на палец бороду. Посмотрел на него Заборов, и сжалился, и простил непожатую руку.

– Про государственное дело ты говорил. Шел ты в сторону Днепра за каким-то поручением то ли вестью. Но пьяный был сильно и побитый. Мишу вон обидел. Псом обозвал и спать завалился. Больше ничего не знаю. По правде, и забыл про тебя, сколько ты там отлеживался.

Вскочил тут Иван, как про государственное дело прознал, и заметался. Следовало немедленно идти к Днепру, поручение исполнить и себя заодно вернуть. Миша, который балалаечник, понял Ваню без слов и взмолился:

– Стрелец, а стрелец, возьми меня с собой! Уж как-нибудь пригожусь тебе.

Ваня удивился:

– А чего тебе здесь не сидится, в тепле?  
– Видишь, Иван, как людно у нас? Значит, дом наш шибко одиноко стоит. Слишком далече от всего. Я, по правде, да что я, все мы и забыли, сколько тут сидим. Думали перезимовать. Но тут такая изба, что ни вино не кончается, ни зима. Сил моих больше нет.

– Миша верно говорит. Я-то, признаться, тоже не припомню, сколько я тут и зачем. – Заборов вытащил деревянную пробку резцами и ловко плюнул ею в одного из медведей. Тот обиженно заревел.

Заборов отпил, вдохнул с рукава пыль и стал хлопать себя по карманам в поисках трубки.

«А заяц – ладный парень, – вдруг понял Иван, – видный стервец. По нему как раз и скажешь, что нету такого дела, которое он не смог бы обустроить. Решительный, в дороге с таким легче справиться».

– Послушай, Заборов, память-то мне отбили, да не всю. Ты вот сказал, а я вспомнил, что дело мое крайне важное. Пойдем со мной?

– С нами, – влез Мишка.

– С нами, – согласился Ваня, – я тебя отблагодарю как следует. Вместе послужим. – И стрелец протянул Заборову руку.

Заборов неожиданно встал и уперся ушами в потолок. Предложенное рукопожатие он предпочел не заметить.

– А пойдем! Поозорничаем! И то правда – заживо тут гнием.

Он запахнул кафтан, поставил початую бутылку на пол.

– Держи, тоскливые! – сказал на прощание медведям и пнул сапогом входную дверь.

– На-ка, Вань. – Мишка протянул стрельцу овечью шапку, опустил на четыре лапы и вышел следом за зайцем.

– Ну, с Богом, – прошептал Иван, напялил поверх кольчуги убор и вышел в зиму.

Небо троицу щадило – снегом не сыпалось. Только вот ветер дул лютый, забористый. Он жалил Ваню в щеки, в глаза. «Этим легче, – завидовал он, – экие рожи шерстяные, моя в сравнении голая. Борода, чай, не шарф, не обмотаешься». Ступали они мед-

ленно, по колено утопая в снегу. Изба за их спинами отдалялась, делалась игрушечной, пока три горящих окошка совсем не растворились во всеобъемлющей серости. Больше было не разобрать, где небо сходилось с землей. Ни леса, ни дымка, ни колокольни. Одна равнина, бескрайняя и безразличная. Небо спешно меркло. Ветру было где разгуляться, что он и делал.

Ваню стужа одолела первым. Он развернулся и пошел задом наперед, спиной к холоду. Заборов переглянулся с медведем. Они встали и посмотрели, как стрелец дышит на синие свои тонкие пальцы, и одновременно подумали, что, возможно, затея была не из лучших.

– А какой был выбор? Там зима не кончилась бы, – объяснился с самим собой медведь. – Пушай хоть так кончится. – Мишка встал на задние лапы и заревел на весь мир. Заревел в навалившуюся ночь, на первые звезды, на свою большую медведицу. В звонкий воздух вырвался клуб пара. – Стой, стрелец! Подь сюда! – позвал Миша.

Ваня сделал несколько шажков и провалился было в ложбину, но Заборов успел его подхватить. Ваню вытащили и отряхнули. Он растерянно озирался, а зубы его стучали дятлом.

– Обещал тебе послужить – изволь.

Из медвежьей лапы выскочил коготь, как выскакивает лезвие раскладного ножичка. Вонзил его Миша себе в пуп и повел лапой кверху. Разъехался живот. Разошлась надвое грудина. Ваня тарачился и не верил, даже позабыл, что околел. Заборов, тот, наоборот, понял, кажется, все и сразу. Понял и принял. Он снял двуголку и наигранно склонил голову, а затем и вовсе потешно сложил уши. На усиках его блестел иней. В Мише что-то журчало и клокотало. Волевой лапой он выскреб из себя потроха. Выудил хребет, выломал и вручил Заборову.

– Послужит посохом али щупом в заметенных оврагах.

Последним он выдрал свое большое медвежье сердце и поставил его на сугроб. В свете молодой луны снег казался голубым, а красная кровь – черной. Горячее сердце подтопило оледеневшую корку над снегом, и оно медленно просело внутрь пригорка.

– Все! – Медведь умер, но говорить не перестал. – Полезай в меня, Вань, иначе погибнешь.

– Спасибо, Миша.

Стрелец обнял медвежью морду и поцеловал ее в остывшую пасть. Жертву он принял с удовольствием. Забрался внутрь мишки, закутался в него, как

в шубу, запахнулся, связал лапы поясом и враз согрелся.

- Эх, надо было двоих брать, – с досадой буркнул Заборов и подался вперед, пробуя глубину Мишиным позвоночником.
- Ты, косой, лучше не болтай, а веди Ваню по делу его государственному. – Мертвый Миша уже не боялся Заборова.

Его запрокинутая голова свисала с Ваниных плеч, как капюшон. Она качалась в такт шагу, и в глазах Мишиных от этого плясали продавленные Ваниными сапогами глубокие следы.

- Экий у тебя кожух болтливый! А? Лучник?

Заборов не унимался. Он был рад, что выбрался из вонючей избы, как из дурного сна. Его, в отличие от Вани, ничего не настораживало: ни голод, ни холод, ни ночь и ни снежная степь.

Шли долго. Или около того. Остановились, только когда мир начал робко белеть.

- Что встали? Реку видать? – спросила Ваню его шуба.

– Вот же болтливый подранок. – Заборов повалился в снег от усталости.

- Заборов, ну-ка посмотри туда. Ну! Вставай давай! Видишь? – Ваня приложил ко лбу ладонь, создав над бровями козырек, вот только от какого такого солнца?

Заборов отряхнул кафтан и прицелился взглядом в указанную сторону.

- Не вижу ничего. Равнина и равнина.
- Вон же! – воскликнул Ваня и побежал из последних сил.

Снег был ему по пояс, и казалось, что он переходит вброд молочную реку.

- Лучнику виднее, – буркнул Заборов и, придерживая двууголку, поднялся и пустился за товарищем.

Через несколько минут и он увидел это. Из снега, как спичка из пивной пены, торчала одинокая жердь, а верхушка ее мерцала чудным оранжевым светом.

- Фонарь! – обрадовался Ваня и пошел на него, как шлюп на маяк.
- Чего? – Заборов не поспевал. – Это ты на каком сейчас сказал?

Стрелец вспомнил, что фонари сами по себе из земли не растут. Рядом наверняка будет дом или люди. Что-нибудь да будет.

Чутье не подвело. Сразу за столбом из снега высилась металлическая труба.

- Копай! – крикнул Заборову Ваня и принялся лихорадочно рыть снег медвежьими лапами.

Заборов достал рукавицы, надел их, похлопал себя по коченеющим ляжкам и внезапно по-звериному набросился на трубу. Снежные комья полетели во все стороны. Путешественники отламывали льдины, сбивали наледь ногами, разгребали сугробы, плевались, тяжело дышали и принимались сызнова, пока им не открылся дощатый дом салатного цвета. Строение было в один этаж. На каждой стене – по два окна в изразцовых наличниках. Некогда зеленая краска выгорела и облупилась.

- Ты грамотный? – спросил Заборова Ваня.

– Я – нет, – проснулся капюшон, но на него внимания не обращали.

Заяц кивнул.

- Читай.

Над кривеньким крыльцом под козырьком висела прибитая ржавыми гвоздями табличка.

- Детская библиотека номер семь, – прочел Заборов и пожал плечами.

«Библиотека» и «фонарь» были для него новшествами.

Дверь была открытой, но не запертой. Внутри оказалось чисто, пусто, натоплено и незатхло. Чужое присутствие было очевидным. Дом был одним пустым залом с крашеными полами и стенами, оклеенными одноцветной голубой бумагой.

- Необычно, – заключила Мишина голова.

Ваня сбросил шкуру на пол и подошел к деревянному жертвеннику, вросшему в пол в центре зала. На нем лежал раскрытый на середине монументальный том. Первые буквы строк были в разы больше следующих. Их тела были неполными и горели щедро нанесенной красной тушью. Текст был писан рукой.

- Эй, грамотей, – позвал Ваня зайца, – почитай нам.

– Житейник – дело хорошее, – заяц шмыгнул оттаявшим носом, – но я ж все мечтал еду какую сыскать.

- Давай, – подбодрил приятеля Ваня, – читай с прилежанием, буквы – тоже пища.

– М – морковь, А – картошка. – Заяц усмехнулся и прокашлялся.

Иван растянулся на полу, снял кольчугу, заложил за голову руки и закрыл глаза. Проходящая ломота была сродни блаженству.

- Сошлись у берега Днепра Георгий Московский и Иван Смоленский, и было неясно – то воры или святые. – Заборов читал нараспев, подражая попам. – Георгий сказывал, как однажды в его град въехал верхом безрукий мальчик. Вожи зубцами сжал. Ехал да грозился спалить посад. Да только не было ни города, ни мальчика, ни коня, ни тор-

Это ведь тосковать можно  
вечно, а радоваться нет.  
У счастья всегда есть  
и начало, и конец. Как  
свыкся лучник с тем, что  
не погиб в этот раз, так  
того, что было, стало  
мало.

га. Ничего этого не было. И промолвил ему в ответ Иван: «Да что за херню ты несешь? Что это за чушь несусветная? Вечная у вас, у азиатов, али есть, али нет. Был мальчик! Все было!»

– Верно князь ответил, – сказал сквозь дрему Ваня, – даром что смолянин.

Заборов захлопнул книгу и слег рядом. Сил хватило укрыться Мишкой, и все. Измотанные переходом, они соскользнули в сон, как по ледяной горке.

Долго ли спали, коротко ли, только за то время вековая зима отступила. Как только путники уснули, так и пошло от книги свечение – ударило из восьми окон лучами. Желтый крест растопил сугробы, прогнал холод, извел снег. Тот таял и стремился ручьями к отцу своему, к Днепру. Ваню разбудил пряный запах лета. Он волочился по полям, собирая пыльцу, и вполз под дверь, войдя в Ванины ноздри, уши, рот. «Как это!» – Иван тер глаза кулаками.

– Заборов, вставай! Оглядысь!

Они выбежали на крыльцо и с него сошли в поле. Лучник водил рукой по колокольчикам и щурился от синего неба.

– А-а-а! – заорала заячья морда.

Заборов повалился в траву и стал стягивать сапоги. Вскоре оба они плясали, ходили на руках, пели, скоморошничали. Только приветливый запах травы. Ничего более. Ничего белого. Ничего ледяного. Они пили из ручья. Полные ладони земляники заряжались в рот. А уже сидя по нужде под козьей ивой, Заборов заметил три белых гриба. Тогда он выломал две ступени из крыльца и сжег их, чтобы приготовить обед. Насытившись и остыв, они сели

друг против друга. Заяц еще жевал нарванный клевер, а Ваня глядел на угли и помалкивал. Это ведь тосковать можно вечно, а радоваться нет. У счастья всегда есть и начало, и конец. Как свыкся лучник с тем, что не погиб в этот раз, так того, что было, стало мало. «Вот бы лук сейчас, – загрустил он, – вот тогда бы по-настоящему поели».

– Заборов, – вдруг позвал он, – а я ведь тебя знаю

Заборов бросил жевать и напряженно посмотрел на Ваню.

– Да не помню откуда. – И Заборов как будто выдохнул.

Он уловил перемену настроения в товарище и поднялся первым.

– Вот что, собираться надо. Тут тоже застрять можно, как там. – И косою махнул туда, в сторону начала их пути, где в каждом январе по тысяче дней.

Мишку расстелили на траве, покидали в него сапоги, портянки, кафтан, рукавицы. Связали в суму, закрепили на его же хребте. Ваня взвалил ношу на плечо. Условились влачить хомут по очереди.

– Ищите ручей покрупнее. Он к реке выведет, – сказал узелок.

Скрутили его головой внутрь, и Мишин голос теперь слышался Ване как из-за стены, точь-в-точь как когда он слушал его сказку, лежа на спине.

Солнце замерло в полуденном пике. Сладко жужжали стрекозы, ветерок трепал полевые цветы. Безо всяких «спасибо этому дому» лучник и заяц пошли прямо, продолжив заданный путь, потому что если пойти туда, куда глаза глядят, – заплутаешь. Вскоре и библиотека, и фонарный столб исчезли из виду, но этого никто не заметил, так как оборачиваться нечего.

Шли босиком, шли и отдыхали.

– Лето – не зима, – донеслось из сумки, и Заборов плюнул, покачав головой.

Кроме штанов, на нем осталась двууголка, с ней он, видимо, был неразлучен. Ваня же из всей одежды оставил подштаники. Колчан убирать не стал. «И правильно сделал», – понял он, когда разглядел две человечьи фигуры.

У бескрайнего дикого поля край все ж таки был. Тропинка из протоптанной травы выросла в грунтовую дорогу. Граница стояла броско. Путь перегораживал шлагбаум с будкой. До черты – все колокольчики да редкий подсолнух у обочины, после – вспаханная земля. Направление было верным. Из-за границы тянуло водорослями, и если бы насекомые смолкли, донесся бы ход Днепра. У новоявленного барьера паслись двое. Тот, что

по крупнее, стоял, а второй сидел, согнув колени, и покачивался на носках. Заборов скинул наземь ношу.

– Ой! – сказали из чрева котомки.

Привратники на горящую сумку не отреагировали. Ваня уставился на старшего. Неприятного разговора было не избежать. Когда неприятель выплюнул колосок и сделал шаг вперед, Заборов осторожно встал за Ванину спину. Одеты были разбойники (а это были именно разбойники, Ваня определил их загодя, по валяжным позам вместо служилой выправки) чудно. На обоих парусах надувались одинаковые кафтаны, только короткие, оборванные у пояса. И штаны, они были одного цвета с верхней частью – как специально подобранные. Сапоги короткие, без голенища. Низкие, как лапти. Только не лапти, а что-то тряпичное – невидаль какая-то. Старший был сложен по-богатырски. Нос его лежал на боку. Шеку пересекал розовый шов. Выпученный по-коровьи глаз заволочка катаракта. Второй казался стеклянным. По крайней мере, синхронно с соседним он не вращался и был пустым, как если б был глазом покойника.

– Что за гости к нам? По каким таким делам? – Он встал в метре от Ивана и навис над ним, как утес над морем.

– Разбитной паренек, – понял Заборов и сглотнул.

– А ты почему спрашиваешь? – Лучник держался уверенно, даже невозмутимо.

– Да вот, дорога платная, – ответил верзила, и меньшей его товарищ мерзко засмеялся высоким дребезжащим голосом. – Я бы и пропустил, да вот Федька больно строг, – кивнул разбойник на своего подпевалу. Тот развеселился пуше прежнего.

– Нет у нас денег, – отвечал Иван, – да если бы и были... Чай, не ваша дорога? Вы почто околачиваетесь? Мзду берете. Князя удельные вы?

Из-за плеча показалась неуверенная заячья морда.

– А еще я слышал, что коли денег нет, то пропуском служит ответ на загадку. – Заборов дорожил шкурой и пытался беду отвести.

– Есть такое, – согласился великан, и Заборов мысленно перекрестился.

– Отгадаешь – пройдешь. Нет – воротись, а шкуру медвежью со всем, что внутри, оставишь. Согласен?

– А если не согласен? – спросил Ваня.

– Он согласен, – сказал Заборов и кивнул ушами.

– Если не согласен, разворачивайся прямо сейчас.

Не пройдешь, зато не потеряешь.

– По рукам, – согласился Иван и заложил их за спину, наморщил лоб и потупился в землю. Так он хотел показать неприятелю, что готов слушать во всенимании: мол, вопрошай.

Разбойник подмигнул Федьке – видно, не впервой эту загадку загадывали. Нахотавшись, Федька улыбался широко, сверкая железными зубами, предвкушал добычу.

– А меня уже и не спрашивают, – вздохнула сумка.

Разбойник начал:

– Русалочка белая, что беды наделала, в замок приползала, княжича украдала...

Это должно было быть вступлением. К вопросительной части вор не продвинулся. Лучник Иван его не слушал и отгадывать не собирался. Он оценивал расположение врага – расстояние между ними. Иван выжидал подходящего мгновения, когда рассказчик увлечется собственной историей и позволит самому себе на нее отвлечься. На слове «украдал» лихой детина непозволительно вытянул шею, и Ваня в прыжке выудил безошибочно стрелу из колчана и проткнул ею вражеское горло под кадыком. Разбойник от удивления разинул рот. Из него вырвалось мычание, а следом хлынула кровь. Он шагнул было на Ивана, но пошатнулся, обхватил стрелу за перья и повалился, сотрясая землю. Поднялась пыль.

– Дядя, не надо, – Федька-юнец пытался, – не надо.

Когда Ваня нагнал его, он успел только выкрикнуть «святая милиция!» и что-то еще про божьего раба. Изумленный Заборов видел только голую спину лучника и твердую руку, которая слаженно, как поршень паровоза, поднималась и опускалась в Федьку. Когда же Ваня кончил, он повернулся к Заборову. Был он ни рад, ни расстроен.

– Я что-то пропустил? – спросила сумка, пока Ваня вытирал об нее руки.

Ожидаемо слетелись вороны. Два шуплых, еще вчерашних птенца растаскивали Федькино лицо, схватывая по мелочи, и тотчас отскакивали, как если б Федька мог отмахнуться. Старый же, опытный ворон взшел на лоб разбойника-главаря и принялся ковырять единственный настоящий глаз. Заборов, молча наблюдавший расправу, на мгновение узнал стрельца. Воспоминание всполохнуло, как молния, но он его не удержал. Он первым вызвался взвалить ношу и, не задавая вопросов и не комментируя бойню, последовал за Иваном. Переступая через трупы, он решил плестись в нескольких шагах от Ивана, чтобы невольно не прервать необходимое в таких случаях молчание.

Молча они вышли к Днепру. Вдоль заросшего берега цвела лиловая сирень, и дух ее был, как у чистой невесты. На травинках качались кузнечики. Знойный воздух был пропитан пылью. Все гудело и жило.

– Тут и схороните мя, – попросила шкура.

У самой воды стояла лодка и ждала Ваню. Его манил другой берег. Виднелся его мрачный сад сплошной черноплодки. Над рекой неслось девичье пение. И хотя на этой стороне было по-летнему хорошо, так хорошо, как может быть только во младенчестве, в котором нет государственных поручений, сердце звало Ваню переправиться. Грибной дождь зашуршал в листьях. Пошел и перестал, но почву немного смочил.

Рыли руками. Благо, медведь был полый. Ограничились ямкой, глины начерпали на ведро. Развернули Мишку, встряхнули от дорожной пыли и бережно сложили.

– Рад был послужить тебе, Иван. – Медвежья морда чавкала, говорила невнятно. Видимо, в пасть набилась земля.

Забросали. Заровняли. Поклонились в пояс. Тут даже Заборов не ерничал, похороны дело такое, все ж не поход в баню.

Ваня толкал вросшую в землю лодку и не слышал, как из-под земли донеслось:

– Помяни меня, Иван Дмитриевич.

А Заборов услышал и вспомнил, кто стрелец в самом деле и откуда знает его, да промолчал, подобру-поздорову.

Веслами водил Заборов. Иван растянулся и свесил над водой голову. «До чего чистая!» Видит Заборов – Ване на лопатку сел слепень; бросает весла, лезет, смахивает. Ваню удивила перемена в товарище, эти робость и услужливость, взявшие из ниоткуда. Чинопочитание как-то не шло его хитрой, острой, зубастой роже. Но сердцем Иван был уже на новом берегу, и мысли о Забове разбежались врассыпную. На середине, где течение заметно усилилось и Заборов навалился на весла, Иван разглядел в глубине большого сома, как ему показалось. Сом извернулся, повернул голову к небу – и Иван разинул рот. На него со дна плыла девица. Она вынырнула и приподнялась на руках, упираясь о нос лодки. Течение сбило с ее белой кожи ил. Голой груди она не стеснялась и смотрела на Ваню ласково и просто, как будто встретились они на людях в воскресенье после службы.

– Скажи, Иван Дмитриевич, когда конец дней наступит? – спросила девица и потянулась к его лицу рукой.

Она едва коснулась бороды, как из-за спины стрельца вырос Заборов. Он размахивал веслом и гнал гостью:

– Пропади! Ну!

Ваня одернулся и разглядел рваную щеку речной девы – в разрезе виднелись острые, сточенные зубцы. Иван испугался. Он стал отталкивать ее от себя, сбрасывать ее склизкие руки. Русалка разинула пасть и заорала так, что из заячьих ушей пошла кровь.

– Когда конец дней наступит? Когда конец...

Заборов угодил ей лопастью по шее, и, взвизгнув, она шлепнулась в воду. С минуту они взгляды вались в рябь и все ждали наступления. Но круги разошлись, и Заборов вернулся на скамейку. Ваня отполз от края, как от греха, подальше и тихо, как будто боялся свидетелей, шепнул «спасибо». Он ее знал. Точно знал. Но не мог вспомнить. Лицо ее было знакомым. Не было у ней прежде рваной раны, и глаза были другими – живыми, а не осоловелыми, как сейчас. Ваню тряхануло и подбросило. То гребец его въехал на берег, с маху.

Иван пошел на пение, что звенело в чаще. Заборов остался стоять у суденышка.

– С Богом, Иван Дмитриевич. Я буду здесь, когда понадобится.

Стрелец не расслышал своего имени, он не слышал ничего, кроме тонкого голоса, звавшего его. У полосы рябинового леса в воздухе висела черная птица. Крыльев у нее не было. Она не опускалась за счет хвоста. Длинные перья ходили взад-вперед.

– Долго же я ждала тебя, Иван Дмитриевич. Стергла то, за чем пожаловал.

– Мою память?

– Не твою. Нашу память. Твою, мою, Заборова... Ступай же к нашему ребенку! Возьми его!

Только сейчас стрелец понял, что птица висит над гнездом. На тонких черных веточках яйцо размером с младенца. «Тяжелое». – Иван поднял и поднес его к птице. Та села ему на плечи. Она была измучена непрерывной борьбой с притяжением.

– Сколько же ты меня ждала? – спросил стрелец.

– С четверть часа. Четверть часа мы прожили без власти. Не ходи к нам больше. Слышишь?

Яйцо в Ваниных ладонях зашевелилось, затрещало, как назревший арбуз, и расколосось вверх. Сквозь скорлупу, откуда ожидалась голова птенца, вылез железный крест. Принял Иван Дмитриевич державу и вспомнил, кто он, кем был и кем будет. Все его «я» успокоилось. Что ни мысль, то вол у водопоя. Что ни вдох, то праздник. «Мы вернулись

в себя», – понимал он и был готов смеяться и плакать от счастья, сошедшего на него.

– Князь я, Великий, – сказал вслух Иван Дмитриевич и как будто открыл и без того распахнутые глаза.

## II.

Великий князь Смоленский, царь Польский и Литовский Иван Дмитриевич вернулся в себя и звучно вдохнул. Какое счастье быть живым! Какое оно простое и забываемое. И до чего сладостно напоминание! По телу еще блуждала слабость, но она уступала пробудившейся крови. В онемевших пальцах покалывало. Щекочущие волны подмывали смеяться, осподарь себя не сдерживал.

– Отоспался, – понял Заборов, стоявший тут же, при теле.

– Сколько меня не было? – спросил Иван Дмитриевич.

Он встал с постели, одернул балдахин и сошел с помоста на пол.

– Пятнадцать минут, солнце.

Иван Дмитриевич наступил босой ногой на что-то мокрое и липкое. На паркете стыло черное озерцо крови, и от него через зал к высокой двери тянулась речка. У истока широкая и густая, и тоненькая, как ручеек, в устье, где впадала в следующий зал.

– Я натворил? – Князь нахмурился.

– Все живое умирает, по-другому не бывает. Нечего скучать, Иван Дмитриевич. – Заборов ласково улыбнулся и поклонился в пояс.

– Рассказывай!

К Великому уже бежали служки с ведром и тряпками. Следом шел холоп с платьем и сапогами.

– С кровати ты повалился. Ребра ушиб. Потом велел супу испробовать. Ну мы с супом немного опоздали... От паха до шеи. – Заборов разрезал воздух указательным пальцем, показывая, как погиб прислужник.

– Ты почему, дурак, пояс с ножнами не отвязал? – Иван Дмитриевич переменялся в настроении и, казалось, гневался вразправду.

Заборов хорошо знал отходняковые качели, сам не раз качался и потому был спокоен. Опасности в великокняжеском недовольстве он не учуял. «В ярость не вырастет».

– Как можно, Иван Дмитриевич? Княжеский-то пояс. Да ты б меня первого... как проснулся.

Заборов стоял подле и поправлял на князе этот самый ремень, украшенный крупными рубинами, ка-

ких, казалось, быть не может в природе. Лицо Ивана Дмитриевича разгладилось, воротилась улыбка, и он неожиданно потрел Заборова за ухо. Заборов встал на колени и обнял ноги осподаря своего. «Сапоги начищены», – заодно проинспектировал он.

– Ну, Заборов, будет. Вставай. А вот суп все ж охота.

Он проследовали в столовую через размашистые комнаты заборовских палат. Дом был устроен таким образом, что каждая зала имела две двери, и каждая дверь вела во что-то новое. Коридоров боярин не любил. Из хозяйской спальни они перешли в гостевую. Она была светлее, радужнее. Окна ее смотрели в сад, а не на город. Далее следовала галерея – византийские образа вперемешку с батальными полотнами. Собрание спешное, безвкусное и недешевое. За галереей были похожая библиотека со многими ярусами и лестницами и только после – столовая. Стол был собран на двоих. Обойдя лебеда вниманием, Иван Дмитриевич сам придвинул к себе супницу и принялся есть большим черпаком, оставленным внутри для разлива. Заборов тихонько ломал хлеб и любовался князем, тянущим в себя холодный суп на кислом квасе. К бороде его лип щавель, а после большого куска разваренной рыбы он облизывал запачканный мизинец. Воскрешающий жор был знаком каждому пробудившемуся путешественнику.

– Заборов. – Великий отодвинулся от стола. Он мог бы продолжать, но это разморило бы его, а еще следовало быть в Кремле, принимать ненавистное посольство. – У убитого нами скатертного родня в твоём доме осталась?

Заборов метнул взгляд на людей, стоявших на услужении за спиной князя, и те, поймав негласный приказ на лету, как кость, сорвались со своих мест.

Не успел Иван Дмитриевич докурить папиросу, как они ввели зареванного мужика с большими и глупыми, телячьими глазами.

– Как звать? – спросил князь.

Он любовался то янтарным своим мундштуком, подарком княгини на именины, то кольцами дыма, которые ловко пускал, постукивая пальцем по щеке.

– Никитин. Подьячий я. – И мужик упал на пол и пополз к государевым сапогам.

– А ну, встань! – И Иван Дмитриевич поднялся сам. Никитин подпрыгнул и до того растерялся, что снова заплакал.

– Ты теперь, Никитин, дьяк. Собирайся и переходи ко мне в Кремль.

– Я? За что радость-то такая? – Мужик произвольно потянулся к полу.



– Да встань ты уже. – Княжья милость была в шаге от раздражения. – Ты у боярина Заборова столом заведешь?

– Нет, – честно сказал мужик. – Повар. – Больше всего на свете он хотел, чтобы разговор этот закончился.

– Ну а кушанье ты закупаешь?

– Я, солнце.

– Так вот. – Иван Дмитриевич остался доволен тем, как ловко он подвел к награде. – Так вот, стерляди такой я отродясь не пробовал. Будешь к моему столу такую же доставлять.

Иван Дмитриевич кивнул на дверь, и Заборов прогнал дьяка Никитина и стражей, которые шли теперь смиренно рядом с тем, кого едва ли не волоком втащили минутой ранее.

– Пойдем, Заборов, надо собираться.

Боярин подал Ивану Дмитриевичу золотую маску, но тот отвел ее. – Так пойдем. Своими ногами.

– Но лик?! – изумился Заборов.

– Да кто меня помнит? – улыбнулся князь. – Вели шубу попроще и шапку без креста. Пройдемся. Подышим.

Заборов было заикнулся о заждавшемся посольстве, но молча поклонился. Он себя считал слугою умным, умеющим угадывать настроение хозяина, и поэтому с почтительным видом отправился за простой одеждой, но удобной не как простая. Князь же томился. Выход из похода побуждал к действию, к движению. Он закурил очередную папиросу, предварительно постучав ею по столешнице, и принялся расхаживать по столовой.

На широком подоконнике стояла перламутровая шахматная доска. Партия была брошена на середине. Иван Дмитриевич взял белую пешку, выточенную из кости, и стал ею водить по воздуху, будто она самолет, а он ребенок. Ему нравилось, что тень его руки опережает саму руку. Тьма стелилась над клетчатыми городами, над ненавистным Можайском, Сжальском и Москвой. Фигурка спикировала в стан черных и, повалив ферзя, встала за спиной короля. «Баловство». – Князь сделался серьезным, даже хмурым. Истома давно прошла. Он уже прочно держался за этот мир, так же прочно, как сидел на княжении. И там, где недавно цвела эйфория, загнездилась тоска. «До чего эфемерный кайф». – Великий топнул каблучком, как делал в детстве, когда злился на свое потешное войско. На периферии чувств ныла вина за убитого казачка. «Вот ведь спал вчера, поутру кашей завтракал...» Но Иван Дмитриевич был

мастером себя прощать и затыжым терзаниям не предавался. «Если чувства мои еще отпрашиваются у совести погулять, как дети у мамы, значит, не потерял я еще как человек». Князь обратился к отражению в высоком, как все в этом доме, настенном зеркале. Жизнь едва перевалила за половину и старости пока ни в глазах, ни в лице не было. «До страшного суда еще далече. А без буйства человек ни жив, ни мертв. Так, сорная трава. Не полюбуеться – не вспомнят».

Осподарь и боярин его вышли с черного хода. Без маски, панциря и шлема все же не следовало идти через парадные ворота на людный Боголюбский проспект. От неприметной двери людской, крашенной в один цвет с фасадом, вела тропинка до калитки, по которой по господским делам шныряла челядь. Нечего им бороздить сад. Он бел и нежен. Князь зачерпнул чистого снега, скомкал ладонями и откусил от снежка, будто от яблока. Лицо его запыхало от мороза. Воздух сверкал невесомым инеем. Снег, легкий, как дух, стелился по расчищенной дорожке. Колокольные языки заходили после обедни. Над Смоленском повисла божественная переключка. Кремлевские звонари отзывались на колокола заречных, а те – на колокола монастырских. Так по ночам, бывает, лаяют псы.

Иван Дмитриевич поднял куний ворот и смахнул с темени снежинки. Едва умолк звон и они подошли к калитке, как из-за угла дома выбежал подстреленный шенок. Его отчаянный визг привлек внимание князя. Он встал, отвел от ручки ладонь и обернулся. «Да чтоб тебя!» – Заборов прикусил губу. Он не смел выражать досаду ни словом, ни плевком. Подгонять начальство – все равно что опалу кликать. Заборов не забыл, как забавлялся князь в юности. Была в его уезде игра – царская охота. В ночи игроки напивались в дым, а поутру, по указу, всех тормозила стража и гнала в винный погреб. Там похмелившийся и заново веселый князь ставил друзьям воду и подолгу выжидал, кто первый пива попросит. Запомнил Заборов и того шляхтича с жидкими усами, который, не выдержав муки, хлебнул вина, не спросив. Князь был весел и велел того пана зашить в шкуру, что лежала ковром, а сокольникам своим приказал думать, что это медведь доподлинный. «Модле ше до бога», – рвалось из пасти. Раз за разом. «Модле ше до бога». Чернецы отворачивались. Бабы затыкали детям уши. Охотники же были строги и послушны. Они загнали зверя к стене, приперли рогатинами, да и проткнули. За ними стояли молодой, удельный еще тогда князь и его свита, из которой по эту пору в живых остал-

ся только Заборов. Посему он и шагнул в сторону стреляного щенка, а не Московского посольства.

Следом за подбитой собакой верхом на коренастом мужике выехал из псарни младший из заборовских сыновей. Крестьянин утоп по брови в снегу. Он фыркал, изображал конское ржание и топал в сторону раненного барчуком зверя, но уперся в сафьяновые сапоги хозяина. Князь наблюдал молча, с хмылкой, скрестив на груди руки. Заборов правильно понял, как поступить. Он сшиб оплеухой отпрыска так звонко, что тот подлетел выше своего лука, который не удержал.

– А ну, вставай. – Заборов поднял за седые, всклокоченные волосы мужика. Медеянский щенок извивался и скулил. Он пытался дотянуться зубами до стрелы, но так и издох, описав несколько кругов вокруг себя. Красное пятнышко, вытекшее из его брюшка, оледенело. Заборов тыкал теплым еще щенком в лицо сына. – Вот же пес, Илюшка. Не он! Ты!

Мальчик ревел от обиды. Он не мог взять в толк, за что его наказывают. Не будь с отцом незнакомца, его бы и не бранили. Вчера баловался – посмеялся отец, а сегодня – бьет как дворового. Откуда Илюшке было знать, что породистых собак князь жалует больше своих людей. Да и знать он не знал, как этот князь выглядит. Сидит в Кремле, что солнце в небе, и распекается о всяком. Мог ли он сойти и вот так просто бродить да бородою трясти по его, Илюшкиному, двору.

– К столбу его, – сказал мужику Заборов негромко, но так, чтоб Иван Дмитриевич расслышал наверняка, – и сам чтоб сек.

– Да как же это так, – взмолился крестьянин. Ему ли было не знать, чем такая порка выйдет для него самого.

– Так не пойдет, – принял вдруг живое участие Иван Дмитриевич. – Мужик твой пощадит мальчика. Мы с тобой за ворота, а ему с живодеркой твоей жить. Изведет ведь. Загонит кобылу. – Великий криво улыбался.

Мужик смотрел в землю и теребил шапку, которая доселе лежала смятой за пазухой. Ему хотелось или выпить, или исчезнуть, или и то и другое.

– А что же мне делать, Иван Дмитриевич? Научи. – Заборов так и держал окоченевшего уже щенка в одной руке и сына за ухо в другой.

– Хочу, чтоб ты сек, Заборов. Ты ему рódный.

– Ой, боюсь, – верещал Илюшка, – не надо этого, боярин.

Больше дохлой собаки он ненавидел только человека, при котором отец его вел себя, как послуш-

ная скотина. Горячие слезы лились по румяному лицу. Заборов жалел мальчика, и князь это видел, и тем веселей и приятней ему было.

Затянув на позорном столбе по рукам и ногам сына, Заборов сам сдернул с него рубаху и бросил наземь, в одну кучу с шубкой и мурмолкой. В высоких окнах стояло много народа, и дворовые, и родня. Веселились старшие братья. Безучастно наблюдали стражники. Молчала боярыня-мать. Отец повращал кистью с зажатой в кулаке рукояткой. Приноровился к весу кнута. И хотя все ждали удара, обрушился хлыст все одно неожиданно. Не было ни взмахов, ни тяжелого томления. Что-то мелькнуло. Где-то шелкнуло. Мальчик оказался слабым. Воздуху на крик ему не хватило. Он обмяк, расстался с сознанием и повис на руках. И только после все увидели, как беленькая его спинка расплзлась надвое, и неуверенно потекла по пояснице кровь.

– Будет с него, – сказал князь и направился к калитке.

Со стороны парадного входа в воздухе, в полуметре от земли, висел княжий поезд. Магнитная дорожка под ним напряженно гудела. Стража ходила кругом, удивленно заглядывая в просвет кованых узоров ограды. Люди, проходившие по Боголюбскому проспекту, останавливались из праздного любопытства. Смоляне знали, что воздушные вагоны подают только Великому, и ждали минуты увидеть его в сияющей маске солнца и поклониться. Такая удача – увидеть осподаря! Поговаривали, что нужно успеть загадать что-нибудь сокровенное, пока видишь Ивана Дмитриевича. Обязательно сбудется!

– Пускай топчутся, – остановил Иван Дмитриевич Заборова. Тот собрался завернуть за угол, отпустить транспорт и увести за собой нескольких телохранителей. – Так пойдем. – Великий помянул Заборова жестом, дескать, будем шагать ровень, нечего позади плестись.

Бывший Большой Советский переулок, а ныне Малый Воскресенский, петлял меж белых домов и летнего сада, который был парадоксально хорош именно зимой. Фонтаны-мертвецы стояли смиренно, бесшумно. Над ними скрипели черные голые тополя. Их оледенелые ветви казались стеклянными, а снегири на них – игрушечными. По пустым аллеям мела поземка. Хорошо и пусто. Миновав входных львов парка, князь и боярин вышли к белой городской бане, последней кирпичной постройке. Далее тянулся деревянный посад с неровными участками, избами, заваленными сугробами по худые тесовые крыши, и замершими колодцами-журавлями. Дворы

и прогоны меж ними редели и обрывались перед пушью – зимним Днепром, спящим и заметенным. Мост до Кремля стоял будто над белым полем.

Из парной выбежали бабы. Они ухали и валились в снег. Раздался хохот и визг. Две крепкие насмешницы повалили молодую девку головой в снежную горку и держали за узкие плечики. Другие же подбегали и лупили ее снежными ладонями по тощему белому заду. Залюбовался князь на березовые листики, расклеенные по распаренным телам: «Нет ничего красивее людей моих!» Во дворе напротив стоял сухенький мужичок и порол мухобойкой ковер, растеганный на снегу. Женщин он не разглядывал. Он был занят и увлечен паршивым делом. Иван Дмитриевич не шел, а гулял. Он был доволен своим миром и пребывал в хорошем духе, пока, как туча в ясном небе, невесть откуда не выбежал умалишенный чернец и не набросился на него.

– Подай на храм, начальник, ну что тебе, жалко? Жалко на храм? Сколько не жалко? Есть же деньги, видно же, есть. Отсыпь четверец!

– А ну, прочь, – оттолкнул прокаженного Заборов.

На лице схимника цвели язвы. Заметил боярин, как побелел Иван Дмитриевич, и топнул на юродивого, да поддал сапогом. Тот отполз на противоположную сторону улицы и еще долго голосил им вслед безвредными проклятиями:

– От безбожья, что от безножья. Высохнешь!

Всю дорогу от дома Заборов молчал. Он не разделял господского воодушевления и был погружен в крайне неприятные раздумья. Впервые присутствие осподаря было ему в тягость. Не замечал он обыкновенной радости от царского общества. А виной всему был Илюшка. Заборов все ждал случая разойтись и позвонить по запрещенному в народе телефону жене. Он хотел знать, что с мальчиком. Когда Заборову было как Илюше, его отец учил: «Не имей своей совести. Живи княжьей. Легче справишься». Но то ли оттого, что поднял он на сына руку, то ли оттого, что Великий был без маски, странные идеи копошились в нем. Великий казался обыденным.

«Складно сложен, но не прочней его самого. Борода, пожалуй, пожиже. Глаза впалые. Лоб весь в беспокойных венах. Ни густых бровей, ни длинных ресниц, ни усов пышных. Да обыкновенный он шляхтич, каких полпосада». И отца его Заборов помнил. «А отец-то тоже ведь из бояр был, и мазал его не Бог, а патриарх и сотоварищи, причем тайком, в ночь вторника, у озера». Вспомнил Заборов и своего крестника, княжича Дмитрия, первоочередного к престолу. «Чем он лучше Илюшки? Да ничем. Шапки на них поменяй – кто заметит?»

Князь остановился на мосту. Встал и уперся взглядом в свой Кремль. На белой стене сидела ворона и драла горло. Скоро Рождество... Днепр подметут. Заблестит каток, заиграет ярмарка. «А мы Рождество встретим в Москве». – Иван Дмитриевич выпустил мечту из клетки. Дал ей покружить.

– Знаешь, Заборов, а ведь я тебя хлеще интервентов боюсь.

Заборов оторопел. Голос осподаря, его манера говорить, да и сами слова – все было неизвестным. – Все, о ком ты мне шепчешь, что они предлагают взамен нам? Идеи? Конституцию? Права? Да каждая собака знает, что следующий будет, дай-то Бог, чтоб не хуже меня.

Заборов стоял в оцепенении. Он зачем-то снял с головы высокую шапку и пригладил волосы. Возражения застряли в нем, он как будто подавился словами и вот-вот раскашляется бессвязными слогами. Одна простая мысль заняла всю его голову: «Не мои... Не мои были те сомнения... лукавого...»

– Знаю, что бы ты предложил. – Иван Дмитриевич так и смотрел на свою крепость, мимо Заборова. – Ты бы их вывел, пообещав обнулить кредиты. Посулил бы казну, с них побранную.

– Я? Да я... – Заборов чуть не хныкал от обиды. Ему показалось, что небо упало на него и что впредь луна будет светить днем, а солнце ночью. – Да я... – Только знай, Заборов. Нету казны. Нечем манить. А знаешь почему? Потому что завтра подарком нам будет Москва. Я в ней встречу Рождество, а ты, – князь перевел наконец взгляд на перепуганного своего слугу, – а ты, пожалуй, и Крещение. Да и останешься там, наместником.

Иван Дмитриевич хлопнул Заборова по плечам, обнял, поцеловал в лоб и прогнал.

– Проваливай. Беги. Веди посла в тронный. Скажи, скоро буду.

Ошарашенный Заборов бросился бежать. На подступном холме он поскользнулся, съехал пару метров вниз, но вскочил и, не оборачиваясь, понесся к проходной башне. Иван Дмитриевич проводил его глазами, пока тот не скрылся за высокими стенами. Ворона еще прошлась с минуту по гульбищу, затем слетела и села на голое дерево у подножия вала. Из-под ветки посыпались снежные комья от ее, вороньей, тяжести.

– Видала? Как боярин наш знатный бегаёт? – крикнул ей князь.

Ему было весело, и ни одно посольство или другое неохотное дело не вспугнуло бы его игривого настроения.

Москвичи прибыли в своем духе. Многие машины. Колесные и вонючие. Многие охранники. Одеты безыдейно – костюмы и галстуки, перчатки девичьи – тонкие. Рожи сплошь голые как квадратные. Как тут чиновника от шофера отличить? Так думал Заборов, пока пересекал влопыхах Успенскую площадь. Он еще не пришел в себя после односложной речи Ивана Дмитриевича. «С подвохом он говорил аль от сердца?»

Москвичи моторов не глушили. Они околачивались возле своих повозок и травили шутки. Смысл было не разобрать, так как на одно русское слово приходилось два китайских. Заборов демонстративно плюнул им под ноги и осенил себя крестным знаменем, замедлив шаг перед папертью храма. Важности ему прибавляли два богатырских стража с секирами, взваленными на плечи. Они снялись с караульной службы и следовали за боярином. Один из приезжих передразнил Заборова, спародировав богомолье. Хохот разорвался снарядом. Заборов успел разглядеть четки с иероглифами в руке шутника. «Ничего... Авось и я буду трунить». Заборов стыдился своих недавних переживаний и сомнений. При виде врага любовь к делу своему, к родине, к князьей вотчине выдулась огнем из тлеющих углей. Любовь к осподарю в эту минуту пылала в нем настолько искренняя и самозабвенная, что, потребуй сейчас Иван Дмитриевич Илюшку на жертвенник, Заборов сам снес бы. Ведь знает в душе боярин, что не бывать этому, не такой его князь. Его князь милостив. А если злодействует, на то есть высший смысл, ему недоступный. Мимолетное покаяние и вспышка верноподданства стали Заборову двумя крыльями. Он вытащил из сапога лучевое перо, взял у входа дежурный месяццеслов и влетел в государев дом.

Посол был в тронном зале, когда красногордый глашатай, приведенный с мороза, прокричал имя боярина Заборова. За круглым столом переговоров, который в действительности был прямоугольным, послушно сидели четверо воевод в черных зипунах. Были они, как братья, похожи. На каждом сидело платье с золотыми галунами и большими медными пуговицами с изображением бескрылой птицы гамаюн и дымящейся пищали. Георгий Александрович Голополосов уже не раз за три часа ожидания принимался изучать этот герб. Москву интересовало все, что делалось в закрытом княжестве, от моды до погоды. С начала правления Ивана Дмитриевича Голополосов был первым московским послом, которому отворили световые ворота в Гжатской стене. Георгий Александрович вставал, прохаживался вдоль окон, всматри-

вался в пустынный пейзаж заледенелого города и частенько кашлял в кулак. Чиновник не привык к такому отношению, и лицо его хмурилось каждый раз, когда он смотрел на циферблат наручных часов. Телефон и планшет пришлось сдать при входе. Посол повиновался этой дикости, принятие чужих обычаев было ему не в новь.

– До чего необычно. – Чиновник в очередной раз осмотрел мост, деревушку и витиеватую улочку, уходящую вверх к белому городу. – Совсем ничего. Любопытная столица...

Брови его поднимались над переносицей доминок, образуя складку между ними, напоминающую конька на углу крыши. Глаза щурились. Голополосов был близоруким. Очки тоже пришлось оставить на проходной. С другой стороны экрана отдел писарей третий час записывал тишину. Летописцы и прочие разночинцы осторожно похихикивали, разглядывая сосредоточенность москвича, который таранился прямо на них, не догадываясь, что перед ним проекция, а не Смоленск. Прогремевшее имя и отчество первого ратного вывело немых переговорщиков из оцепенения. Воеводы встали, скрипнув отодвинутыми стульями, Голополосов же повернулся к Заборову и заставил себя скривить улыбку.

– Голополосов Георгий Александрович, заместитель министра иностранных дел. – Чиновник сделал шаг навстречу и предложил руку.

– Знаем, – отрезал боярин и сел подле военных. – Садись. Великий князь сейчас будет.

Заборову не нравилась ухмылка замминистра. Она казалась ему надменной и снисходительной одновременно. «Почему, собственно говоря, глава не прибыл», – возмущался про себя Заборов. Голополосов вздохнул и вернулся к своему креслу. Он проклинал командировку и уже мысленно составлял отчет, в который ввернет не одну колкость о лицедеях и кривляках, иначе людей с бородами во власти он рассматривать не мог. Еще четверть часа прошла в тишине.

Появления Ивана Дмитриевича глашатай не объявил, он бесшумно упал на колени и лег лицом в пол, простирая руки в сторону Великого. Пятеро встали и не шелохнулись, пока Иван Дмитриевич не дошел до трона, стоящего во главе стола, и не опустился в него. Он снял золотую маску, чем взволновал воевод, и нацепил ее на деревянный крест, торчащий из спины трона над его головой. Прежде лицо осподаря они видели только в парной и уж никак не ожидали такого откровения при чужих, да еще и при летописцах.

– Как представитель Объединенных Русских Земель я уполномочен вручить вам ноту.

Заборов побелел от гнева. То, что кто-то заговорил вперед осподаря, было таким же немислимым, как плюнуть в икону. Иван Дмитриевич, как ни странно, виду не подал. Он вытянул руку.

– Давай сюда!

Повертев гербовый лист, поизучав печать, он вдруг поманил к себе то, что Голополосов полагал городом за окном. Смоленск тотчас потух, и в оконную раму вошел молодой человек с ясными голубыми глазами и светлой напомаженной бородой. Он принял из правящих рук документ. Голополосов не растерялся. «В Африках и не такое видел». – Он тихо похлопал в ладоши, нарочито надменно, мол, дешевый фокус.

– Рассказывай словами, чего хотят твои. Бумажку мы позже прочтем.

Георгий Александрович оживился и пустился в разжиженный сказ о значимости каждой жизни, о братоубийстве, о популярности христианства и в Москве тоже, о выгоде мира. Во время речи князь встал и заходил вокруг посла кругами. Воеводам было не по себе – все ж таки убийство посла будет делом неслыханным, даже в разгар войны. Хотя какой разгар. Мало кто из них помнил начало Гжатского противостояния. Росли и мужали они при нем. – Временное перемирие, – заключил дипломат, а князь, который сужал радиус, пока кружил, оказался перед самым его лицом.

Роста и возраста они были одного. Только москвич был крупным и мягким. Во взгляде его угадывались иностранные языки, а вот в глазах Ивана Дмитриевича зияла бездна, и невозможно было предугадать, как поведет себя невольник переменчивого настроения. «Четвертая степень дикарства», – охарактеризовал противника Георгий Александрович для будущего доклада.

– Ты сядь, – обнял вдруг князь посланника, – сядь, сядь, у нас так принято. – И Великий подвел гостя к своему трону. Усадил, а сам отсел к воеводам.

Заборов хохотнул – не сдержался. Да и сам Иван Дмитриевич рассмеялся. Он припомнил недавний свой поход и врагов своих в поле, великана и Федьку. «И они ведь тоже были я», – веселился князь. Несколько растерянный Голополосов добродушно улыбался. Он был смущен ситуацией, но еще не тревожился. «Посол – тело неприкосновенное», – понимал он. К тому же у крыльца толчется два десятка телохранителей. К своему счастью, он не подозревал, что в это самое время

охрана его уже сидела на кольях вдоль Кремлевской стены, а ребятня терзала то, что осталось от сожженных пуленепробиваемых автомобилей. Не просто же так Великий проветривался. Не без дела же он остался стоять после того, как прогнал своего боярина.

– Посол. Скажи нам просто. Что хочет твой китайский царь? – Князь перестал потешаться и сделался враз серьезным.

– Он казах, – удивленно парировал посол.

– Что надобно? – Князь хлопнул ладонью по столу. Воцарилась страшная тишина. – Я тоже мира хочу. До каких пор твой хочет забор подвинуть? Посол сглотнул.

– До Дорогобужа. Дорогобуж отходит нам. И рудники. И Вязьма. Новый забор делаем мы. За свой счет. И подписываем вечный мир. Никаких притязаний на Смоленск, Минск, Вильну и Краков.

– Ну... продолжай. Чем подкупите?

– Киевом. Мы выводим контингенты из Киева. На западе у тебя, вас, преград не будет. Забирайте все по Днепр, и за него, и вниз до моря.

– А Новгород? Новгород оставишь нам на закуску?

– И Псков, и Новгород. – Георгий Александрович достал из нагрудного кармана платок и промокнул лоб.

– Щедр? – обратился князь к своим ратникам.

Военные молчали. Они были людьми прямыми, честными, людьми дела и цирк придворный не любили.

– А ты знаешь, что сын мой, Дмитрий, в Дорогобуже княжит? – Великий встал и заложил за спиной руки. Он стал похож на ворону, с которой давеча заговаривал. – Знаешь, что княгиня моя живет при нем? Что это наш любимый удел? Что это родная моя вотчина?

Георгий Александрович молчал. Ему уже совсем было не по себе. Захотелось вдруг на малую родину, в Подмоскovie, к старой слепой матери, к теплому кастрированному коту и к пряникам с повидлом.

– Ладно, – согласился князь, – ладно. Бог с вами.

На мгновение послу показалось, что беда прошла стороной. Тронный зал как будто выдохнул. И грубые кирпичные стены, и потолочный свод, и писанные предки князя на потолке – все сделалось менее угрожающим и более знакомым.

– Мы устали от бойни, – продолжил князь. – Дорогобуж так Дорогобуж. Заборов! – позвал Иван Дмитриевич. Не поворачиваясь к боярину, он продолжил стоять перед собственным тронном с обмякшим гостем в нем. – Заборов, давай перо. Будем москвичам ответ писать. Соседский.



в тот год, когда Анна Витовтовна была еще католичкой, подростком, жила в тесноте, носила брюки и звалась Виргинией. Знакомые отточия между актами и номерами страниц возвращали равновесие. Дыхание делалось глубоким и редким. Анна Витовтовна передевалась в полагающееся ей равнодушие. Воображение смирялось. Волнение царице ни к чему. Так бывало прежде, но в этот раз заветный текст не сработал. Дрожь усилилась. Чувства просились на волю и вырывались то слезами, то икотой, то неусидчивостью. Княгиня выходила из себя, как река из русла в половодье, которой так же тесно от новых притоков, как ей от новостей. Эта победа, которая впредь будет считаться самой великой, а рассказы и песни о ней переживут все прочее... Эта победа была слишком велика и обжигала воображение. Новое положение – кто она теперь? Все еще Великая княгиня Смоленская? Царица объединенных земель? Царица! А Митя? Царевич Дмитрий? Никогда прежде не казался ей Дорогобуж таким далеким, забытым и крохотным. Она рвалась к мужу. Ей следовало быть свидетелем того, о чем будут петь и писать. В честь чего построят храмы. Потому и потушила фильм и с середины ночи, ни успокоившись ни сладким, ни книгой, подняла двор и велела мыла не жалеть. Дом в Крещение должен светиться.

С мороза донесся глухой голос топора.

– А это что? – встревожилась еще больше Анна Витовтовна.

Седьмому дню, Воскрешенью, полагалось быть тихим – какие работы?

– Так ведь Крещение, – угадал недоумение хозяйки Гришка-постельничий, – купель готовим.

Гришка подошел со спины тихо, как подходит любовью человек из Кремля, смотрящий за домостроем. Даже маленький Митя в свои десять догадывался, что Григорий никакой не постельничий, а как минимум сотник. На нем был красный мундир по случаю праздника. Русые волосы делились ровным пробором. Глаза его были большими, ясными и добрыми.

– С победой, Гриша, – княгиня подала ему руку.

– С победой, Анна Витовтовна. – Гриша поцеловал руку и удержал ее в своих на мгновенье дольше, чем полагалось протоколом.

– Что там? Дай посмотреть. – Княгиня вернулась к окну, где только что сверкала на солнце безлюдная зимняя картина и вот уже разворачивалось действие.

Четверо солдат в ватных тулупах и в кованых шлемах кололи пиками и рубили топорами лед. Длинные топорыща опускались поочередно, из-за

чего кольца походили на подвижную игрушку. Можно было подумать, что Днепр провинился и был за то наказан. Командир их стоял тут же и руководил группой импульсами своего шлема. На нем был персидский, с пикой на макушке и арабской вязью по ободку. Буквы зажигались, и железные козырьки на солдатских касках, похожие на цветок с четырьмя лепестками, вторили, загораясь тем же цветом. Когда прорубь была готова, караулить ее остались двое. Они высвободили из ножен мечи и встали на страже воды. Только схватит лед – тотчас отступит от яростных ударов. Остальные строем перешли реку и вошли в казарму. Вся сценка показалась княгине возней муравьев на белом листе.

– Дмитрий Иванович велел прорубь ему приготовить! – Гришка любовался госпожой не стесняясь, не отводя глаз.

Беды в его обожании не было. Оба знали, что их влечение обречено. Княжна побоится, а постельничий не посмеет, даже в мыслях. Наблюдая как-то за туалетом хозяйки из смотровой, в куполе примакающей к дому часовни, он прокусил палец, чтобы потушить пожар, разгоравшийся в чреслах.

– Митя? В купель?

Княгиня уставилась на прорубь, похожую на открытый погреб. Дорогобуж светился небесно-белым, и чем ярче был этот свет, тем страшней казался черный квадрат воды. Изведенная за бессонную ночь нервами, княгиня не сдержалась и заплакала. Нечто необъяснимое испугало ее. Нечто не из этого мира. Чудовище о семи головах, покрытое тонкой кожей, будто одна сплошная губа. Оно таилось в Днепре, в окне, ошибочно прорубленном зимою в лето.

– Как Митя? – Княгиня взяла Гришку за плечи и потянула к себе.

– Так ведь десять лет княжичу... Он сам велел... Хотел первым. Перед прочими... Примером быть.

– Нет! Не будет этого. – Анна Витовтовна отпрянула от постельничего и быстрыми шажками направилась в детские покои. Решительность сменила тревогу, и слезы высохли так же скоро, как вернулись.

«Ох и переменчива. Ох и хороша», – провожал ее взглядом Гриша. Двору было невдомек, что подтолкнуло князя к такому выбору. Скольких дочек присылали Псков и Новгород! Все разошлись по боярам. «А эта?» – переглядывались они потом, круглые и наливные, эта, кость литовская. А Гришка понимал. Прелесть несочетаемых черт дразнила его воображение. Худая, а веселая. Умная, а не строгая. И надменная, и шумная. И ведь Богом наказанная

всего одним ребенком. Сколько всего пустышек на-  
родила? Пять или шесть? А все ж неунывающая. Ви-  
дал Гришка на своих экранах, что вытворяла она с  
Иваном Дмитриевичем в его редкие посещения  
удела. Билась на нем, как висельник перед вечнос-  
тью. А уж как под ним скакала! Тут хоть все пальцы  
прокусывай.

– Митя! Митя! Где ты, солнышко? – долетело со вто-  
рого этажа.

Постельничий неслышно вздохнул и направился  
в часовню. Следовало еще навестить настоятеля,  
попробовать трапезу перед подачей Великим, на-  
деть на попа золотой орарь и проводить его к Дне-  
пру. Январские дни коротки. Курить и петь над про-  
рубью следовало начинать уже сейчас.

Бояться было чего. Не каждая тревога беспри-  
чинна. Анна Витовтовна не разглядела беду глаза-  
ми, но услышала позывной сердцем матери. А беда  
смотрела прямо на княгиню. На ее белое лицо, на  
белые литовские волосы, спадающие на золотую,  
расшитую красными крестами накидку. Княгиня  
мелькала в окнах, то одна, то с высоким мужчиной  
в парадной форме, и все это время покойница стоя-  
ла на дне Днепра и звала к себе Митю. Были у нее  
когда-то такие же красивые и сухие волосы и та-  
кая же гладкая кожа. Она скребла расколовшимся  
надвое ногтем по перламутровому нутру раковины  
и пузырилась тихой песней, манком для княжича.  
Сонные жуки и окуни замерли друг против друга  
в контрдансе. Они отшипнут от царевича то, что  
она им оставит – глаза, язык, но не легкие. Лег-  
кие Мити – ее! И пускай на суше царствует Анна,  
зато здесь, под толщею льда, правит она – речная  
девица.

Многих ли девушек истерзал князь по уделам?  
Уж немало. Да вот только не каждая сумела пере-  
жить смерть. Зарытая однажды Заборовым, наспех,  
в собственном огороде, она и вправду побывала до  
поры в мертвых. Смерть ее была глубоким сном. Он  
повторялся. Виделось ей, что молния ударила в ко-  
локольню и замерла фиолетовой полосой в небе.  
Кремль поыхал, из него рвались люди. Они тыкали  
пальцами в свои светящиеся прямоугольники и кри-  
чали в них о помощи обожженными ртами. То были  
московские наемники – управляющие областью и их  
семьи. Из польхающих ворот Фроловской башни вы-  
ехал князь Иван Дмитриевич с приспешниками по-  
любоваться чужой бедой. В этом месте из раза в раз  
ход времени преломлялся, как бывает только во  
снах. Войско, гнавшее людей, замедлялось, а бегле-  
цы, наоборот, ускорялись. У берега люди падали на-  
земь и тянулись руками вверх, к невидимому Богу,

и он их слышал и шадил. Днепр расходился надвое,  
и люди выходили из города по песчаному дну. Волны  
смыкались за их спинами, покрывая князья войско.  
Снилась ей и милость Божья. Воительниц Бог сберег,  
потому что женщина любил больше. Даровал им жизнь  
рыбью, в чешуе, с жабрами, но жизнь!

Не умерла Ксенька – замерла. Замерло ее серд-  
це, ее дыхание, ее мечты. Только сон остался. Стал  
ей. Так пролежала она, брошенная в яму без гроба,  
не отпетая, голая, с мая по октябрь. Летом близ  
нее разрослась вишня. Пустила корень в ее рази-  
нутый, замерший рот. Тот пророс сквозь щеку. Так,  
наверное, и спала бы, пока не срослась с деревом,  
но в Покров день две хваткие руки докопались до  
ее ног, схватили за пятки, уволокли в реку и по-  
чем зря разбудили. Корень подрал щеку, как блес-  
на щучью глотку, и первое, что узнала Ксенька  
в новой жизни, было «боли нет». Второе – жабы,  
они разошлись над грудью глубокими порезами.  
«Грудь!» – Ксенька схватила ее и сжала. Что с ней  
сталось?

– Так бывает, – прохрипела подруга ее детства  
Катя. – Молоко в Днепр ушло.

– Катя! Живая. – Ксенька и обрадовалась, и испу-  
галась.

И было чему. Она же была там, с соседским маль-  
чишкой, когда Катю срезали с крюка в амбаре,  
а мальчик еще отворачивался, не потому, что бо-  
ялся мертвяка, а потому, что не видел прежде го-  
лых девиц. «Еще и беременная», – трясла головой  
попадья, когда родители Кати почти разжалобили  
священника мольбами. Но жена в случае батюшки –  
это навсегда, и он отказал. Ксенька сама бросала  
землю в яму, одинокую, за оградой, и еще ревела  
по дороге домой, что неотпетой подруге покоя не  
будет.

– Так жива?! – трянула ее Ксенька и переполоши-  
ла рыб.

– Ну так, – скрипнула Катя и засмеялась железным  
смехом так, что мелкие пузырьки навернулись на  
жабрах.

Ксенька уставилась на живот Кати. Он все еще  
был круглым.

– Ты до сих пор тяжелая?

– Теперь навсегда, – отмахнулась Катя. – Это икра.

– Кать, а мы что, русалки? – Ксеньку пугал соб-  
ственный незнакомый голос. Он был глухим,  
а слова тянулись натужно и выходили хриплыми.  
– Фараонки. Так правильной.

Только сейчас Ксенька разглядела руки Кати.  
Они были синюшные и склизкие. Она была вся сизая,  
как медуза.



– И я туда же, – погладила себя за локти. Кожа была скользкой, будто вымоченной в масле.

Катя понимала, что происходит в душе новенькой. Она не забыла свои первые подводные дни. Тот голод не сравнил ни с чем. Оставленная могила дышала холодом в звездную ночь удивленным разинутым ртом. Визг бобра, из-под лопатки которого она выскабливала ногтем розовое легкое, в прожилках, похожее на тучку в молниях. Голод и страх. За ними последует отчаянье. Но прежде был голод.

– Жалко мне тебя, Ксенька. Жалко. Зато и радостно. Я ведь до тебя одна дорогобужская была.

– А остальные кто ж? – Ксенька свыклась с удивлением, его вытесняло первоочередное желание. Ее занимала насущная пища и спрашивала она, не интересуясь ответами.

– Да почти все смолянки.

– И что ж, у них несчастных больше?

– Людей больше, а значит, и несчастных.

Ксенька не дослушала. Она запрокинула голову, высунула язык, оттолкнулась ото дна и стрелой вылетела из воды, ухватив за шею селезень. Грудку его она выгрызла еще до того, как плюхнулась обратно. Теплая птичья кровь заговорила зуд.

– Ты схватываешь на лету, – улыбнулась Катя и обнажила три ряда мелких сточенных зубов.

– Кать? – Они плыли к заводу.

Впечатления вымотали Ксеньку. Их было чересчур после скованного лета в чистилище. Катя увела подругу в камыши. Там обычно спали сестры. В стороне от течения.

– Кать, а почему хвост не рыбий и ноги на месте?

– Неудобно нужно справлять.

– Нет, ну правда, Кать?

– Не знаю. Сказки все... бывает у тех, кто остается насовсем.

Ксенька повторяла за подругой. Она расчистила дно от камней и ракушек. Огляделась – нет ли раков. Легла и заюлила змеей. Окопалась в иле. Стало теплее. Ксенька заснула первой, и к ее утреннему сожалению сон про исход повторился. Кате не спалось. Она повернулась к мертвой подружке и тихо плакала, вот только слез под водой было не видно.

Ксенька проснулась раньше других девочек. Она огляделась и удивилась тому, где была – на дне. Не понимая как, она дотянулась языком до рыбки, ужалит ее и втянула уже безвольную в пасть. «Ого, сколько нас!» Она изумилась количеству спящих утопленниц и новым зубам, которые проросли и на языке, и даже на рваной щеке. Рана не болела. Не болело ничего. Ксенька прислушалась к себе. Внутри было тихо, как бывает зимой в лет-

нем саду. Сердце не билось, но поднывало. На поверхности полыхала гроза. Но здесь, на дне, было мертвецки спокойно и глухо. Ядра града врезались во взволнованную поверхность заводи, но до девички не добывали. Таяли. «Так какой же жизни я не получила?» – гадала девочка. Здесь все думали об этом до поры, но потом, кто раньше, кто позже, свыкались, мирились, забывали. «Какой?» Представляла она бегонию, робко выглядывающую из кашпо. Себя на лавочке, с серебряной нитью в волосах. Соседского мальчика с оттянутой в полове рубашкой, полной ягод. И русалку, не настоящую, а деревянную, в изразце окошка ее кухни, по ту сторону которого тепло и пахнет чаем. «Как же она так запросто соблазнилась? Как глупо дала себя погубить?».

– Так ведь нет моей вины. – Ксенька разглядывала несчастных, искалеченных соседок. – Один он и виноват.

Катя проснулась следом и развела перепончатые ладонями полог из водорослей.

– Свыклась? – добродушно спросила она новенькую.

– Катя, а что теперь делать?

– Ничего. Есть и ждать.

– Чего ждать?

– Светопреставления. И милости. В конце дней всех простят. Всех, кто человеческой жизни не забирал.

Ксенька привстала, опершись на локти. Вокруг нее поднялся песок.

– А за что меня прощать, Катя? Я в чем виновата? – Негодование, обида, гнев, все разом взыграло в девочке. – А твоя вина? Что ты такого сделала?

Катя молчала. Дно расшевелилось. Прочие покойницы сползались на шум. Удивленные рыбки одна за другой исчезали в их кривых ртах.

– Правда тебя боярин обрюхатил? На торге болтали, что не по твоей воле. – Ксенька не унималась.

Остальным было любопытно. Они тарачились серыми глазами и, как рыбы, подрагивали от любого покачивания кувшинок. Давно так живо не было в пруду.

– Это не боярин был. Он по рукам держал. А под сердцем у меня княжич, – тихо сказала Катя.

– Царевийца, – зашептались остальные.

Катя зашипела, жабры заходили, как плавники, вывалился колючий язык. «Ревет», – поняла Ксенька, но вместо жалости почувствовала гнев. Катя зарылась с головой в песок, прочие, перешептываясь, расплзлись.

То ли речной шепот, то ли живительное прикосновение злости или обиды за прерванную жизнь, но что-то подсаживало девочке, что делать дальше. Нет, не успокаивать подругу. Не оплакивать себя. Не ждать милостей. В живых ее больше нет, и Иван Дмитриевич ей более не осподарь. Пускай сам и скажет, что будет дальше, – помазанник же. Когда она снова выплывет на сухом сене? Когда потянет-ся со сна? Когда зевнет глубоко? Когда встанет у окна, уткнется в него лбом и будет любоваться Днепром, а не жить в нем? Когда наступит конец дней? И она отдалась течению – все одно к Смоленску выведет.

Проплыл родной Дорогобуж, потянулись ржавые поля. Ксенька всплыла, как оглушенная, раскинула руки и ловила дождь рваным ртом. Вспомнилось, как школьный учитель рассказывал классу о Москве. Дескать, там все веруют, что жизнь вышла из воды. Как бы не так! Жизнь в нее ушла. В памяти пятнами проступали образы из детства, так и не пришедшего к зрелости. После излома река шла быстрее. На берегу крепкая баба закричала от ужаса, заведя нечисть, бросила белье и побежала вверх по крутому склону к дому. Белые простыни понеслись следом за речной девкой. Со временем стало казаться, что она, Ксенька, лежит, не двигаясь, а это княжество плывет мимо нее. Проплыли сутулые избы. Посмотрел в отражение стройный собор. В белой ротонде курил молодой солдат и смотрел поверх реки, Ксеньки не замечая. «Красивый», – подумала она и занырнула. Дворов прибавилось. Ни к чему было попусту пугать людей.

Желтые листья, докружив, ложились на гладь и покачивались. Мальки стайками налетали на них и разочарованно расплывались. Пучеглазый карась уткнулся Ксеньке в ребро и, как котенок, потребовал ласки. Хотел, чтобы его гладили, и когда она пощекотала его ноготком, он потерялся об нее плавниками. Когда река потемнела, он отбился. Ему, маленькому, было не дышать в тяжелой воде. «Столица», – поняла Ксенька. Из всех рыб остались сомы. Непугливые, живучие, столетние. Над головой проскользнул стеклянный плот. Рулевой держал тонкую турбину под водой. Выхлоп переливался синим цветом. Горячий водоворот закручивался вокруг сияния. Плотов прибавилось, и Ксенька погрузилась на самое дно, во тьму, где вода была студеной. Тело несло. В темноте оно билось о тинистые валуны, цеплялось за утопленные якоря, но не болело. В этом превосходство мертвых.

Чувство времени ее подвело. Она ориентировалась на голод и сбилась. Мимо носа проплыл

жирный угорь, но желания не вызвал. Стало быть, еще не обед. Но на глубине, где свет не показывался с лета, она впала в дрему, того не заметив, и сколько в ней пробыла, не знала. Ей чудилось, что тело не ее. Ноги заволакивала чешуя. Сильные руки безвольно волочились по песку. Еще немного, день или месяц, и она оборотится сомом. Отрастут усы. А однажды попадет на крючок и вернется на свет, и пускай, что чьим-то обедом. Пускай даже кошачьим.

Ласковое пение пришло на помощь. Слова были неразборчивыми. Мотив незнакомым. Ксенька встряхнулась, сбила с боков ил и осмотрелась. Вода стала чистой, как в ручье. «Далеко ли меня отнесло?» Песня спускалась сверху. Просвечивало голубое небо, безоблачное. Ксенька потерла глаза, стянула с них пленку. «Сколько же меня не было? – подумала она. – Так меня и нет», – вспомнила, как извел ее князь.

Весла шлепали по воде. Днепр пересекала деревянная лодка, из тех, что остались только на картинах в исторических музеях. Показалось бородастое лицо. Преломленное от ряби, но узнаваемое. Человек свесился через борт и водил рукой по воде. Греб кто-то другой.

– Будь я проклята! – засмеялась Ксенька. – Так я уже. – Она устремилась к Великому князю.  
– Скажи, Иван Дмитриевич, когда конец дней наступит?

За спиной встал забором князев холуй: «Куда же без него», – и замахал веслом. Она решила. Надо было глушить. Такого здорового за собой не утащишь.

– Когда конец дней наступит? – Страшный свист пронесся по воде. Заглушил птичье пенье. Погнал волны. Накренил прибрежную иву. Еще раз! Еще один только раз и...

– Когда конец...

Рука Заборова была крепкой. Это она помнила из прошлой жизни. Запомнит и в этой. Весло сбило челюсть набок. Треснул висок. Левый глаз вывалился из впадины. Она сама оборвала болтающуюся щеку, которая разошлась от весла пуше прежнего. Лодка была еще на воде. Еще в ее власти. Она бы могла догнать, утянуть... но нет. Теперь этого мало! «Мальчик», – пробудился голод. Голод, неумный голод, который не успокоят никакие сомы. «Мальчик», – закричало то, что когда-то было ртом.

Она шла по дну, против течения. Побитая, но сильная. Сильнее, чем когда-либо. Мертвая, но живее всякого. «Княжич... Вот и поквитаемся, Иван Дмитриевич». На ногах заблестели чешуйки. Пальцы стянули перепонки. Целое войско зубов забирало

любую жизнь, плывущую на пути. Единственный глаз видел сквозь тьму. Он ее и рассеивал. Он горел.

Ледяной потолок обтягивал реку. Сковылась ход. Она пробиралась. «На Крещение!» – веселилась русалка. Она скребла ногтем по случайной раковине и нашептывала неведомый ей прежде позывной: «Русалочка белая, что беды наделала, в замок приползала, княжича украла». Над ней уже всю скользили коньки и санки. Дети, уловив зов, припадали ко льду, расчищали его от снега. Их манил шепот. Но она копила голод на одного-единственного. «Митя!» – Она дразнила себя, представляя то его нежные легкие, алые, как заря, то лицо Ивана Дмитриевича перед пустым гробиком. «На Крещение. Сам придет. Сам прорубит ко мне лед».

– Митя! Митя! Где ты, солнышко? – В детской было пусто. Ни нянек, ни царевича.

Постель была убрана, военная форма к ужину висела на плечиках, вот только игрушки лежали, разбросанные по полу. В углу гудела белая голландская печь. Анна Витовтовна отвязала накидку и села прибирать куклы. На шахматном полу, где темный кленовый квадратик соседствовал со светлым, липовым, стоял распахнутым кукольный дом. Княгиня заглянула внутрь. В левой части Митя рассадил по лавкам забавных медведей в подпоясанных веревочками рубахах. На одном была миниатюрная овечья шапка-пирожок размером с наперсток. У другого в лапах замерла гитарка со струнами настолько тонкими, что почти невидимыми. Между мишками сидел деревянный солдат с приклеенной заячьей головой в двууголке. Пушистая морда была заимствована у другой игрушки. Княгиня повертела его и разулыбалась: «Какой смешной». Во втором приделе, на игрушечном сеновале, лежал солдатик-стрелец. Смастерен он был искусно. Каждая деталь раскрашена вручную. На поясе переливалась удивительной красоты перламутровая пряжка. Княгиня взяла игрушку, хотела рассмотреть ремень, но укололась об иголку, которую Митя положил в игрушечный колчан стрельца. Видимо, это была стрела. Анна Витовтовна облизнула навернувшуюся красную капельку.

«Что же они так долго?» – Анна Витовтовна прислушалась к коридору, который вел к ваннам. Все это время она полагала, что Митю моят и наряжают. – Господи, чудны дела твои, – донесся мужской безрадостный бас.

Великая распахнула окна и, обоженная морозом, вскрикнула, увидев отряд серафимов, спускающихся с неба. Но присмотревшись, выдохнула с облегчением. Это всего лишь мальчики... Их было много. Они

скаtywались по пологому противоположному берегу к реке. Неслись они, сидя на корточках, с разведенными в стороны руками, оттого и померещились ей вестникам. Ребята подпрыгивали, выкатив на лед, и бежали к проруби, поскользываясь и звонко смеясь. Им не верилось, что осподарев сын и вправду нырнет. Следом по маршевой лестнице осторожно спускались их родители. Анна Витовтовна подалась вперед и посмотрела вниз. Под окнами, напротив теремного крыльца, домовой их священник курил ладан над прорубью и пел. Военные выстроились красным коридором от порога до воды. Гриша вел под руку царевича. Голубой иней искрился на плечиках Митиной шубки. Серебряная маска отражала закат. Подойдя к краю, мальчик остановился. Дорогобужцы кланялись и отворачивались. Гришка зашел со спины и снял с головы наследника серебряное солнце. Молитва закончилась. Митя шагнул в Днепр.

